

Н. А. Хренов<sup>1</sup>**СУДЬБА КУЛЬТУРЫ В СИТУАЦИИ ВОЙНЫ  
КАК ФОРМЫ КОНТАКТА МЕЖДУ ЦИВИЛИЗАЦИЯМИ**

Одной из актуальных проблем истории XX века стало более интенсивное и динамичное общение между странами и народами. В каком ракурсе следует рассматривать такое общение? Исходя из установок организаторов Лихачевских чтений, из всех возможных ракурсов выберем цивилизационный. Иначе говоря, проблему общения можно рассматривать в той научной парадигме, что появилась в XIX веке. Речь идет об известной работе Н. Данилевского, идеи которого получили продолжение в философском бестселлере О. Шпенглера, а затем в многотомном исследовании А. Тойнби.

Когда вопрос об общении между народами поднимают историки, они обычно сводят его к общению между государствами, что, конечно, возможно и что постоянно предпринимается. Однако государства могут возникать, изменяться, исчезать, объединяться или, наоборот, разъединяться. По сути, они отражают лишь соотношение между народами в поздней истории. Политические формы объединения и разъединения, представляющие государства, весьма подвижны и могут трансформироваться за более короткое время. Вообще, цивилизации старше государств. Если брать большие временные отрезки истории, то процесс объединения и разъединения народов можно проследить не только на уровне государств, но и на уровне цивилизаций, которые могут объединять несколько государств. Имея в виду это обстоятельство, А. Тойнби говорит о возможности «рассматривать историю в понятиях цивилизации, а не в понятиях государства, а государства считать неким подчиненным и эфемерным политическим феноменом в жизни цивилизаций, в лоне которых они появляются и исчезают»<sup>2</sup>.

Если историю народов рассматривать в цивилизационном ракурсе, то во внимание следует принимать не только экономические и политические факторы, значение которых на поздних этапах истории столь гипертрофировано, вернее не сводить к этим факторам все

другие нюансы во взаимоотношениях между народами. Возникает возможность выявить довольно трудно осознаваемые факторы, которые являются уже ментальными, осмыслять контакты между народами на менее всего изученном историками ментальном уровне. Несмотря на то что в результате деятельности известной школы историков «Анналы» проблематика ментальности прочно вошла в науку как активно действующий фактор во взаимоотношениях между народами, она все еще плохо изучена, в том числе в цивилизационном плане.

В безбрежной проблематике контактов между народами на ментальном уровне мы выберем лишь одну форму контактов между цивилизациями, а именно — войну, то есть крайний случай. Под цивилизациями будем подразумевать Россию и Запад. Мы остановимся на этой форме контактов еще и потому, что в 2014 году исполняется ровно 100 лет с начала Первой мировой войны, которая, с одной стороны, явилась следствием продолжающегося надлома западной цивилизации, до этого времени лидировавшей в мировой истории. С другой стороны, эта война явилась отправной точкой для последующих значимых событий, имевших место в мировой истории. Не случайно Г. Федотов утверждал, что Вторая мировая война является «вторым актом Первой мировой войны»<sup>3</sup>.

Эта война ознаменовала начавшиеся сдвиги в некогда устоявшихся пространственных контактах между цивилизациями. Размышляя об этом, нельзя не вспомнить высказывание Гегеля о войне, констатирующего не только негативный, но и позитивный ее смысл: «Высокое значение войны состоит в том, что благодаря ей... сохраняется нравственное здоровье народов, его безразличие к застыванию конечных определенностей; подобно тому, как движение ветров не дает озеру загнивать, что с ним непременно случилось бы при продолжительном безветрии, так и война предохраняет народы от гниения, которое непременно явилось бы следствием продолжительного, а тем более вечного мира»<sup>4</sup>. С этой гегелевской точкой зрения солидарен парадоксалист Ф. Достоевского, мнение которого писатель приводит в своем «Дневнике писателя» за 1876 год. «Положительно можно сказать, — говорит он, — что долгий мир ожесточает людей. В долгий мир социальный перевес всегда переходит на сторону всего, что есть дурного и грубого в человечестве, — главное к богатству и капиталу. Честь, человеколюбие, самопожертвование еще уважаются, еще ценятся, стоят высоко сейчас после войны, но чем дольше продолжается мир — все эти прекрасные великодушные вещи бледнеют, засыхают, мертвеют, а богатство, стяжание захватывают все...

<sup>1</sup> Главный научный сотрудник Отдела медийных и массовых искусств Государственного института искусствознания Министерства культуры РФ, профессор кафедры эстетики, истории и теории культуры Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова, доктор философских наук. Автор более 500 научных публикаций, в т. ч. книг: «Мифология досуга», «"Человек играющий" в русской культуре», «Кино: реабилитация архетипической реальности», «Зрелища в эпоху восстания масс», «Воля к сакральному», «Культура в эпоху социального хаоса», «Русский Протей», «Образы великого разрыва. Кино в контексте смены культурных циклов», «Социально-психологические аспекты взаимодействия искусства и публики», «Публика в истории культуры. Феномен публики в ракурсе психологии масс», «Социальная психология искусства: переходная эпоха», «Избранные работы по культурологии. Культура и империя» и др. Председатель Комиссии междисциплинарного изучения художественной деятельности при Научном совете РАН «История мировой культуры», член Союза кинематографистов России, член Союза театралов России.

<sup>2</sup> Тойнби А. Цивилизация перед судом истории. М., 2003. С. 407.

<sup>3</sup> Федотов Г. Судьба и грехи России. Избранные статьи по философии русской истории и культуры : в 2 т. СПб., 1992. Т. 2. С. 308.

<sup>4</sup> Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М. ; Л., 1934. Т. 7 : Философия права. С. 344.

Долгий мир производит апатию, низменность мысли, разврат, притупляет чувство»<sup>1</sup>.

С этой точки зрения очевидно, что мировая война ускорила распад царской империи и высвободила пассионарность русских, проявившуюся в стремлении радикально пересоздать основы жизни. Следствием этой войны явилась революция 1917 года, многое изменившая как во внутренней, так и во внешней политике. Так, казалось, что Россия наконец-то оказывается способной разрешить существовавшую на протяжении всей ее истории задачу, а именно — вызов со стороны Запада. Рассматривающий историю с точки зрения разворачивающихся контактов между цивилизациями А. Тойнби фиксирует это взаимоотношение и взаимоотталкивание между Россией и Западом, которое постоянно давало о себе знать: «Наше нынешнее беспокойство по поводу угрозы, исходящей, по нашему мнению, от России, кажется нам вполне оправданным»<sup>2</sup>. Однако историк тут же пытается понять и объяснить и беспокойство России по поводу Запада, утверждая, что «у русских были все основания глядеть на Запад с не меньшим подозрением, чем мы сегодня смотрим на Россию»<sup>3</sup>.

Заимствуя на Западе систему идей, а именно марксизм, большевики, выдвинувшие в 1917 году идею мировой революции, превратили эту систему идей в вызов по отношению к самому Западу, на который после свершившейся революции тот и вынужден был отреагировать. Эта реакция вошедшей с конца XIX века, если верить О. Шпенглеру, в фазу «заката» западной цивилизации проявилась в высвобождении в этой цивилизации мощных разрушительных сил, что стало причиной беспрецедентной истребительной войны, а именно — Второй мировой войны, причем прежде всего внутри самой этой цивилизации. Конечно, причиной этого высвобождения явилась не только угроза от покотившегося с Востока «красного колеса», но и надлом самой этой цивилизации, ослабление ее духовных и религиозных императивов. Так, в этой атмосфере утверждал себя в Германии национал-социализм.

Зависимость активизации под воздействием распространяющихся в западном мире революционных идей консервативно-охранительных сил давно стала предметом внимания философов. «Фашизм возник как реакция на большевизм, — пишет И. Ильин, — как концентрация государственно-охранительных сил направо. Во время наступления левого хаоса и левого тоталитаризма это было явлением здоровым, необходимым и неизбежным. Такая концентрация будет осуществляться и впредь, даже в самых демократических государствах; в час национальной опасности здоровые силы народа будут всегда концентрироваться в направлении охранительно-диктаториальном. Так было в Древнем Риме, так бывало и в новой Европе, так будет и впредь»<sup>4</sup>. Так, мы убеждаемся, что Первая миро-

вая война и в самом деле явилась прологом не только Октябрьской революции, но и Второй мировой войны.

Первая мировая война оказалась значимой не только для России, но и для Запада, вынужденного противостоять идее исходящей из России мировой революции, что создавало благоприятную ситуацию для возникновения и быстрого утверждения Германской империи. В ней получала реализацию немецкая национальная идея. Стал реальным прогноз, сделанный еще в XIX веке М. Бакуниним. Когда М. Бакунин в 1873 году прогнозировал столкновение России с Западом, то в качестве аргумента такого возможного в будущем столкновения (которое, как свидетельствует история XX века, подтвердилось) он выдвигал неизбежность восстановления в правах жесткой государственности как реакции на либерализацию обществ. При этом М. Бакунин исходил прежде всего из ментальности немцев. Такая реакция на либерализацию в истории постоянно случалась и раньше. Эта закономерность, как известно, была сформулирована еще древними философами.

Однако революция 1917 года не сводилась исключительно к либерализации. В силу возникающей со стороны Запада угрозы, связанной с активизацией охранительных сил, либерализацию осуществить не удалось. Либерализация скорее входила в программу Февральской революции, которая не осуществилась, поскольку в конечном счете к власти пришла партия с иными, более жесткими установками. Более важный смысл Октябрьской революции связан с преодолением того давления, которое на Россию всегда оказывал Запад, с выпадением России из процессов вестернизации. Выпадая из этих процессов, Россия, которая с Петровских реформ показывала себя прилежной ученицей Запада, демонстрировала разворачивающийся кризис европоцентризма. Она оказалась первой в последующей цепи выхода за пределы разворачивающейся в последние столетия вестернизации мира.

Реакция на либерализацию со стороны Германии, о которой говорил М. Бакунин, может иметь место вовсе не у всех, а лишь у народов с соответствующей ментальностью. Такая соответствующая свертыванию свобод ментальность, по М. Бакунину, присуща именно немцам. Выразителем охранительных ментальных установок может быть, как доказывал М. Бакунин, лишь Германия с присущей ей ментальностью, культом государственности и традицией Фридриха Второго как последователя Макиавелли.

Кто же в этой ситуации, что к началу XX века сложилась в мировой истории, оказался в оппозиции по отношению к Германии? Как доказывает М. Бакунин, таким антагонистом может быть только славянский народ как решительно негосударственный. «В отличие от немцев как народа завоевательного, славяне являются мирным земледельческим народом. Воинственный дух им чужд, как чужд им и дух государственности, носителями которого, по его мнению, славяне быть не могут. Если первый импульс немцев — укреплять государственность в собственной стране и распространять государственный императив на всем Западе, то славянам присущи неприятие государства и стремление

<sup>1</sup> Достоевский Ф. Полное собрание сочинений : в 30 т. Л., 1981. Т. 22. С. 124.

<sup>2</sup> Тойнби А. Указ. соч. С. 438.

<sup>3</sup> Там же. С. 439.

<sup>4</sup> Ильин И. Наши задачи. Историческая судьба и будущее России. Статьи 1948–1954 годов : в 2 т. М., 1992. Т. 1. С. 75.

к вольно-общинному крестьянскому миру. В ментальности славян существует стремление к общей свободе и к общему человеческому братству на развалинах всех существующих государств»<sup>1</sup>.

Однако в данном случае проявившиеся в революции антигосударственные установки в ментальности русских этой ментальности вовсе не исчерпывают. Об этом свидетельствует история российской цивилизации, не раз оказывавшейся в ситуации исчезновения. Эту ментальность следует рассматривать в цивилизационном пространстве и времени. Ее следует искать в длительных временных циклах. Но в этом случае мы обнаруживаем, что в российской цивилизации многое определяет ее отношение к византийской цивилизации.

Если российскую цивилизацию рассматривать в соотношении не только с Западом, но и с Византией, то мы обнаружим еще одну очень значимую особенность ментальности русских — их способность созидать государство и с его помощью выходить из экстремальных ситуаций. Если мы смысла этого ментального фактора не поймем, нам трудно будет осознать смысл подвига русских во время Второй мировой войны. Эту вторую особенность своей ментальности русские продемонстрировали не только в Средние века, но в том числе и в XX веке, а именно — во Второй мировой войне, когда для российской цивилизации возникла экстремальная ситуация.

Происхождение некоторых характерных для исторической психологии русских ментальных комплексов связано еще с идеей инока Филофея, ставшей государственной и явившейся, в свою очередь, той самой «русской идеей», о которой в последнее время много дискутировали. Проявив к «русской идее» интерес в ельцинскую эпоху, исследователи, находясь под давлением либеральных идей, тут же ее и отвергли. Это понятно. Тем не менее от этого невозможно отмахнуться. Идея Филофея затрагивает одну из тех культурных и ментальных традиций, которые русскими были ассимилированы, и начинает определять их ментальность как в ее позитивных, так и, возможно, в негативных проявлениях.

Конечно, далеко не все могут согласиться с тем видением войны, которое мы ставим в зависимость от ментальности русских. Но если этого не сделать, то невозможно понять установки, которые срабатывали в прошлом. В этом случае мы не поймем даже то, что происходит сегодня, в первые десятилетия XXI века. Между тем наш актуальный политический опыт свидетельствует, что мы остались верными тому, что было решающим в прошлые столетия.

Русские когда-то назвали Москву Третьим Римом, подхватив эстафету от Византии. Этот факт всем известен, но едва ли до конца осмыслен, и именно по той причине, что ментальность цивилизации никогда не была предметом внимания. Полное осмысление ментального комплекса русских, возникшего еще в Средние века, в современной ситуации оказывается неудобным, не соответствующим либеральным императивам. Оно может привести к обострению взаимоотношений России с Западом, которые весьма удобны в период ак-

тивной ассимиляции и утверждения в России либерализма.

Между тем А. Тойнби (а не кто-либо из современных российских консерваторов) придавал определяющее значение воздействию на Россию именно Византии, что определяло отношение России к Западу не только на протяжении многих столетий, но даже и в XX веке, когда Россия старалась реализовать установку марксизма<sup>2</sup>. Как оказывается, заимствованный на Западе марксизм не исключал следования византийской традиции. А иначе как понять то, что большевики стремились, а точнее, были вынуждены реализовывать свои идеи на фундаменте жесткой государственности, что и привело к негативной оценке их установок и политического опыта? Ведь Рим, как позднее и Византия, подобно сегодняшней Америке, в свое время претендовал на лидерство в мировой истории, да отчасти и осуществлял эту идею в реальности. То же самое стремилось делать и Византия, поэтому и называлась Вторым Римом.

Но, подхватывая эту эстафету у Византии, русские, возводя Третий Рим, добровольно, в соответствии с логикой эстафеты, принимали ответственность за судьбу всех остальных народов, независимо от того, нуждались они в этом или нет. Такая ответственность потребовала колоссального напряжения и, разумеется, сдержанности, концентрации всех духовных и физических сил и, что печально, ограничений свободы, что позднее привело к тому, что ценности либерализма, сколь бы соблазнительными они ни были, здесь развиваться не могли. Может быть, именно этим ограничением свободы можно объяснить то обстоятельство, что русские оказывались способными вызывать к жизни сильное государство, а точнее, одну из могущественных империй мира, хотя, казалось бы, это добровольно взятое на себя бремя психологии русских и не соответствовало. Но таковой оказалась логика истории независимо от тех идей, которые пытались реализовать.

Может быть, именно потому, что такая государственность в ее архаической византийской форме, выразителем которой оказался разгадавший вторую сторону ментальности русских Сталин, была воздвигнута, русские и смогли защитить себя, выстоять во Второй мировой войне. Во всяком случае такая точка зрения, несмотря на всю критику Сталина, в литературе высказывается. Так, Д. Робертс утверждает, что если бы Сталин не вызвал к жизни жесткую государственность, то ни Россия, ни коммунизм не смогли бы выиграть войну с Гитлером<sup>3</sup>. Другое дело, что не следовало доводить до того, чтобы Россия оказалась на грани исчезновения. Но к этому подводило выпадение России из процессов вестернизации.

Но раз революция провоцировала взрыв консервативных сил, следовало им противостоять и их преодолевать. Необходимость сделать это отбросила русских в ранние эпохи истории. Цель, которую большевики ставили перед собой, в силу этого не только не была реализована, но и оказалась скомпрометированной. Раз Рим второй был империей, то такова и судьба русских.

<sup>2</sup> Тойнби А. Указ. соч. С. 374.

<sup>3</sup> Робертс Д. Иосиф Сталин. От Второй мировой войны до холодной войны. М., 2014. С. 519.

<sup>1</sup> Бакунин М. Философия. Социология. Политика. М., 1989. С. 338.

Россия тоже должна быть империей. Казалось, что такая твердыня была гарантией осуществления принятого на себя бремени ответственности за судьбы мира. Это и есть мессианиззм. Империя воспринималась залогом прочности и стабильности не только российского универсума, но и всего мироздания. Этот средневековый ментальный комплекс во время Второй мировой войны вновь стал реальным.

Если эта тема затрагивается в литературе, то она обычно осмысливается под углом зрения, когда критикуется извечная предрасположенность российской государственности к тоталитаризму. По мнению некоторых, вина за этот уклон лежит на правящей элите. Но в том-то и дело, что упавшая на плечи русских ответственность — это ответственность, не только внедряемая в них властной элитой, но и добровольно принимаемая всеобщая, а следовательно, и идущая снизу, что и позволяет утверждать, что такая ответственность для ментальности русских становится значимой.

Но всегда ли в исторической реальности русские оказывались способными, несмотря на приносимые на алтарь не чужого, а собственного государства добровольные жертвы, эту ответственность в истории осуществлять? Иногда это получалось, а иногда нет. Чаще не получалось. В русской истории, народном сознании значимыми оказывались лишь те события, которые эту идею ответственности за судьбы всего мира подтверждали. И такие мгновения возрождали заимствованный в Византии средневековый ментальный комплекс. Вторая мировая война с точки зрения ментальности и оказалась таким событием, исключительным по своей ментальной значимости. Оно выходит за пределы секуляризированной истории, воспринимаясь в сакральной ауре. От подвига русских во Второй мировой войне и в самом деле зависела свобода других народов. Ради этого и приносились многочисленные жертвы. Не случайно после Сталинградской битвы в британской прессе утверждалось, что советские войска спасли европейскую цивилизацию<sup>1</sup>.

Вторая мировая война свидетельствует о том, что прогноз М. Бакунина подтвердился: контакт в форме войны между цивилизациями состоялся. Но вовсе не потому, что народ-анархист столкнулся с народом-государственником. В экстремальной ситуации русские проявили себя государственниками в не меньшей мере, чем немцы. Дело тут не только в возникшей в правящей элите организующей силе, но и во всегда присутствующем в бессознательном русского народа ментальном комплексе. Таким образом, согласиться с отождествлением России исключительно с порывом к свободе и анархии трудно. История этого не подтверждает.

В связи с этим более адекватной является позиция Н. Бердяева, утверждавшего, что неприязнь к государству является лишь одной стороной ментальности русского народа. Другая сторона связана с потребностью в сильном государстве, которое этот народ в своей истории постоянно восстанавливал. Восстановил он в XX веке на руинах старой империи и новую — большевистскую — империю. В этом восстановлении народ тоже вовсе не был исключительно пассивным, хотя

от этого он и испытывал невероятные страдания. Таким образом, российская история XX века свидетельствует, что, продемонстрировав в революции одну сторону ментальности, а именно стремление к свободе, русский народ во Второй мировой войне показал и другую сторону, свидетельствующую о колоссальном напряжении и способности жертвовать свободой.

Тем не менее применительно ко Второй мировой войне есть возможность говорить о свободе. Именно с этой войны начинается постепенное осознание второй, негативной стороны того мирозерцания, которое с легкой руки Ю. Хабермаса обозначается как модерн. Русская революция 1917 года оказалась лишь частным выражением «проекта модерна». Став выражением ментальности, присущей Западу в Новое время, он вызвал к жизни не только позитивные, но и негативные процессы. Столкновения между цивилизациями, проявившиеся в войнах XX века, тоже во многом являются следствием императивов модерна.

Но при обсуждении вопроса о контакте между цивилизациями в форме военного столкновения нельзя ограничиться лишь уровнем ментальности. Ментальность является выражением духа культуры, в том числе и западной, и русской культуры. Но культура в целом ментальностью не исчерпывается. Казалось, что во Второй мировой войне участники военного столкновения жертвовали и культурой. В данном случае речь вовсе не идет об имевших место в этой войне известных разграблениях музеев и ценностей. В этой войне человечество столкнулось с уничтожением миллионов жизней. Жертвовали не только человеческими жизнями, но, казалось, и культурой. Но ведь именно культура всегда выступала бастионом против взаимного истребления индивидов и целых народов.

Принося в жертву культуру, человечество выходило за пределы «осевого времени», впадало в архаические состояния. Вообще, в истории войн XX век предстает исключительной вехой. До этого времени войны окончательно с культурой не порывали. Чем же истребительные войны XX века отличаются от войн прошлого, если их рассматривать уже не с ментальной, а с культурологической точки зрения? Проблема «война и культура» начала обсуждаться еще в годы Первой мировой войны. Издательство И. Сытина опубликовало работы видных российских философов — Е. Трубецкого, Н. Бердяева, И. Ильина, С. Булгакова, В. Эрн и других — в серии «Война и культура». Отвечая на вопрос, чем отличаются войны XX века от войн предшествующих периодов истории, мы не можем пройти мимо вопроса об отношениях между войной и игрой. Ничто так не свидетельствует об исчезновении и угасании культуры, как угасание в обществе духа игры. Но казалось, что в этой кровопролитной битве угас именно этот дух.

В конце концов, взаимоотношения между народами как в мирное время, так и в ситуации войны можно описывать в понятиях состязания, соревнования, поединка, а следовательно, выявлять их игровой характер. Но раз есть возможность понятие игры использовать при характеристике войны, то тем самым позволительно сближать войну и культуру, поскольку,

<sup>1</sup> Робертс Д. Указ. соч. С. 216.

в соответствии с мнением Й. Хейзинги, культура рождается в игре и функционирует в игровых формах. Война является продолжением и завершением состязательности в мирных формах, когда один из вступивших в войну народов выигрывает, то есть оказывается победителем в состязании. Следовательно, саму войну можно тоже отнести к разновидностям игры. Именно так поступает Й. Хейзинга, когда в своем философском исследовании об игре находит в войне проявление древнейшего игрового инстинкта.

Но прежде чем сопоставить войну и игру, необходимо соотнести войну и культуру. Потому что война может иметь признаки игры только в том случае, если соответствует тем принципам и ограничениям, которые диктуются культурой. Прежде всего, война может нести на себе печать культуры лишь в том случае, если противник не является врагом, которого, если он не сдается, уничтожают. А значит, соперники или противники должны быть равными. Культура присутствует в войне лишь в том случае, если существуют правила ведения войны и от них не отступают. Первое правило такой войны связано с признанием в противнике равного себе. «Честь, верность которой хотят соблюсти, действует только в отношении равных, — пишет Й. Хейзинга. — Обе воюющие стороны признают заведомо ее правила, иначе они недействительны. Коль скоро люди тех времен имеют дело с равными себе, то уже в принципе они вдохновляются чувством чести, с которым связываются дух состязания, требование определенной сдержанности и т. д. Но как только оружие направляется на таких, которые считаются неполноценными, называются ли они варварами или как-нибудь иначе, всякие ограничения насилия исчезают»<sup>1</sup>.

Разумеется, происхождение игры не связано с культурой. Сам Й. Хейзинга признает, что агональный инстинкт присущ природе человека и может проявиться даже в не имеющих правовых, а следовательно, культурных норм варварских обществах. Но культура этот инстинкт преображает, соотносит его с моральными и правовыми нормами. Конечно, игровые признаки войны выходят на первый план в традиционных обществах, когда военные состязания не опираются на технологии и, следовательно, избегают массового уничтожения. Там действуют правила развешивания войны. «Когда мы называем архаичной агональную и сакральную войну, это вовсе не означает, что на ранних этапах, — пишет Й. Хейзинга, — все боевые действия проходили в форме упорядоченного состояния или что в современной войне агональному элементу вообще нет больше места. Во все времена существовал человеческий идеал честной борьбы за правое дело. Но в суровой действительности этот идеал с самого начала отвергается либо профанируется. Желание победить всегда сильнее, чем диктуемое чувством чести самоограничение. Человеческая культура может предписывать свои границы насилию, идти на которое видит необходимость государства, однако воюющие стороны настолько захвачены стремлением победить, что чело-

веческая злоба то и дело отпускает удила и позволяет себе все, что только способен измыслить рассудок»<sup>2</sup>.

Что касается войн в поздней истории и в особенности в XX веке, то они демонстрируют беспрецедентную жестокость, вакханалию уничтожения, что, конечно, характеризует не только войну, но и вообще состояние современного мира, связанное с ослаблением нравственных устоев и размыванием культурных императивов. Поэтому Й. Хейзинга и делает такой вывод: «Роковое развитие технических и политических возможностей и далекоидущее размывание нравственных устоев в Новейшее время почти во всех отношениях — даже в условиях вооруженного мира — парализовали обретенную с великим трудом конструкцию военного права, согласно которому противник признается равноценной стороной, имеющей право на уважительное и честное обращение»<sup>3</sup>.

Тем не менее даже в ситуации утраты игровых и культурных норм ведения войны, что присуще войнам XX века, аура игры во взаимодействии народов продолжает сохраняться, пусть действия вступивших в войну народов и свидетельствуют о вакханалии насилия. Не случайно, когда Гегель описывает войну, он не может обойтись без понятия «игра»: «Так как государства в своем отношении друг к другу выступают как особенные, то имеет место в высшей степени оживленная и принимающая огромные размеры игра внутренней особенности страстей, интересов, целей, талантов и добродетелей, насилия, несправедливости, пороков — игра, в которой само нравственное целое, самостоятельное государство подпадает под власть случайности»<sup>4</sup>.

Когда Н. Бердяев касается войны, у него она тоже описывается с помощью игровой терминологии. В частности, он пользуется словом «поединок», в котором должно присутствовать уважение к противнику: «Нравственно достойнее на себя взять ответственность за зло войны, а не возлагать его целиком на другого. Нравственно предосудительно слишком уж себя считать лучше другого, в другом видеть злодея и на этом основании оправдывать свою борьбу с ним. В поединке необходимо некоторое уважение к противнику, с которым стало тесно жить на свете. Должно это быть и в поединке народов»<sup>5</sup>. Собственно, и у Ф. Достоевского мы обнаруживаем игровой признак войны. Там, где говорится о том, что войны не только не разъединяют, но и объединяют, парадоксалист, имея в виду войну, говорит: «Развивался рыцарский дух»<sup>6</sup>.

Такая же игровая интонация при описании войны получает выражение и у В. Гроссмана, когда он в своем романе «Жизнь и судьба» описывает переживания Гитлера в связи с окружением немецких войск под Сталинградом. Пытаясь осознать свою миссию перед миром («Черчилль когда-нибудь поймет трагическую роль новой Германии — она своим телом заслонила Европу от азиатского сталинского большевизма»<sup>7</sup>),

<sup>2</sup> Хейзинга Й. Указ. соч. С. 118.

<sup>3</sup> Там же.

<sup>4</sup> Гегель Г. В. Ф. Указ. соч. Т. 7. С. 353.

<sup>5</sup> Бердяев Н. Судьба России. Опыты по психологии войны и национальности. М., 1918. С. 191.

<sup>6</sup> Достоевский Ф. Указ. соч. Т. 22. С. 125.

<sup>7</sup> Гроссман В. Жизнь и судьба. М., 1988. С. 616.

<sup>1</sup> Хейзинга Й. Homo ludens. В тени завтрашнего дня. М., 1992. С. 118.

Гитлер презирает своего противника Сталина и как человека («Его хитрость, его вероломство были по-мужичьи просты»). Столкновение империй было еще и противостоянием вождей как игроков. Так ощущал себя и Сталин («Не в потере Сталинграда, не в окруженных дивизиях была главная беда произошедшего, не в том, что Сталин переиграл его»<sup>1</sup>). Но когда Сталин в романе В. Гроссмана пытается осознать успехи советских войск под Сталинградом, он также осмысливает их в понятиях игры, а себя представляет как игрока. В. Гроссман пишет: «Это был час его (Сталина. — Н. Х.) торжества не только над живым врагом. Это был час его победы над прошлым. Гуще станет трава над деревенскими могилами тридцатого года. Лед, снеговые холмы Заполярья сохраняют спокойную немоту. Он знал лучше всех в мире: победителей не судят»<sup>2</sup>.

Всякая игра выражает жизненную энергию, максимум энергии, которую Л. Гумилев называет пассионарной. Избыток этой энергии свидетельствует о полноте жизни или Эросе. Этот избыток энергии проявляется и в войнах. Однако война — это такая фаза состязательности между народами, когда Эрос уступает место Танатосу. Война ассоциируется отнюдь не с Эросом, а именно с Танатосом. Война — это массовое жертвоприношение. Это вакханалия насилия и зверства. Вот как война представлена в романе В. Астафьева «Прокляты и убиты»: «Совершив преступление против разума, добра и братства, изможденные, сами себя доведшие до иступления и смертельной усталости, люди спали, прижавшись грудью к земной тверди, набираясь новых сил у этой ими многожды оскорбленной и поруганной планеты, чтобы завтра снова заняться избиением друг друга, нести напророченное человеку, всю его историю, из рода в род, из поколения в поколение, изо дня в день, из года в год, из столетия в столетие переходящее проклятие»<sup>3</sup>.

Кровопрлитные войны можно представить выходом за пределы того, что К. Ясперс назвал «осевым временем», начало которого соотносится с возникновением религий, морали и культуры. Если война утрачивает игровой признак, то она утрачивает и налагаемые культурой ограничения. Значит, имеет место выход за границы культуры. Но выход за границы культуры есть выход за пределы «осевого времени». Это всегда упадок в варварство. Не случайно с начала XX века, пожалуй, уже с конца XIX века (если иметь в виду прогноз Ф. Ницше), так много пишут о грядущем варварстве. Но это варварство как раз и возникает вместе с войной. Как писал Н. Бердяев по следам Первой мировой войны, древние, иррациональные и воинственные расовые инстинкты в этой войне оказались сильнее новейших социальных идей и гуманитарных ценностей. «То, что представлялось сознанию второй половины XIX века единственным существенным в жизни человечества, — писал философ, — все то оказалось лишь поверхностью жизни. Мировая война снимает эту пленку цивилизации XIX и XX веков и обнажает более глубокие пласты человеческой жизни, расковывает

хаотически-иррациональное в человеческой природе, лишь внешне прикрытое, но не претворенное в нового человека»<sup>4</sup>.

В результате этой констатации выхода за пределы «осевого времени» можно прийти к заключению, к которому подошел Т. Адорно: «После Освенцима любая культура... — всего лишь мусор»<sup>5</sup>. По сути, это констатация выведения войны как контакта между цивилизациями за пределы «осевого времени», то есть за пределы культуры. Но так ли это? Действительно ли Вторая мировая война продемонстрировала крах культуры?

Представляется, что, несмотря на провал в варварство, исход Второй мировой войны и роль в этом исходе русских могут быть рассмотрены именно в ракурсе культуры. Как уже отмечалось, реабилитируемая в форме жесткой государственности византийская традиция, конечно же, отбросила русских в Средние века, не позволив им утвердить ценности либерализма в той же форме, как это имело место на Западе. Тем не менее она сыграла спасительную роль. Может быть, в какой-то степени то обстоятельство, что традиционные цивилизационные формы могут оказаться спасительными, способно отчасти оправдать деятельность Сталина.

В возникшей экстремальной ситуации, в которой оказалась российская цивилизация, регресс в сторону Средневековья оказался не только не негативным, но и позитивным. Позитивным в смысле выживания, а не в смысле утверждения ценностей, что стали в Новое время определяющими и гипнотически притягательными вплоть до сегодняшнего дня. Регресс к более ранним формам ментальности все же не был выходом из культуры. Это была та же культура, только регрессировавшая к своим ранним уровням. Но этот регресс лишь позволил ей проявить жизнеспособные основы. Может быть, даже точнее было бы утверждать, что во Второй мировой войне произошел не выход из культуры, а, каким парадоксальным это ни покажется, возвращение в культуру. Если такой выход из культуры и имел место, то это был выход из той системы ценностей, что были привиты России в результате ее активных контактов с Западом в мирное время. Причем западная система ценностей, хотя и выражала ментальность передовой цивилизации, все же не являлась исчерпывающей. Не являлась она для Запада и исключительно позитивной.

Такой выход явился оборотной стороной возвращения к византийской традиции, которая для русской культуры значима. Возвратившись к византийской традиции, русские тем самым реабилитировали собственную культуру, точнее получили возможность осознать ее основополагающий, по выражению О. Шпенглера, прасимвол. Значит, в этой истребительной войне свою роль сыграла не только ментальность, но и культура в целом. Таким образом, даже столь истребительная война, какой предстала Вторая мировая, свидетельствует о том, что культура неуничтожима, что она в ситуации войны еще более востребована, чем в мирное время, а контакт между цивили-

<sup>1</sup> Гроссман В. Указ. соч. С. 616.

<sup>2</sup> Там же. С. 614.

<sup>3</sup> Астафьев В. Прокляты и убиты. М., 2011. С. 436.

<sup>4</sup> Бердяев Н. Указ. соч. С. 118.

<sup>5</sup> Адорно Т. Негативная диалектика. М., 2003. С. 327.

зациями в форме войны может сыграть исцеляющую и оздоровительную роль, что подтверждает уже цитируемую нами мысль Гегеля.

Исход Второй мировой войны свидетельствует не только о роли в войне ментальности народа или способностях вождей выигрывать победу, но и о постепенно вызревающих новых отношениях между цивилизациями. Вторая мировая война позволила вскрыть тот нарыв в функционировании цивилизаций, что связан с навязыванием некоторым народам ценностей исключительно западной цивилизации. Сыграв позитивную роль на одном из этапов мировой истории, западная цивилизация затем, на следующем этапе истории, начала сдерживать волю других народов к самостоятельному развитию.

Самое удивительное в разрушении в ходе войны навязываемых Западом ценностных императивов — то, что их разрушение оказалось весьма позитивным не только для России, но и для самого Запада. Речь идет о возникшей еще в эпоху Просвещения системе идей, от которой ближе к XX веку начал страдать и сам Запад. Вся эта система есть система модерна. О разрушительной силе императивов модерна и необходимости освобождения от их власти позднее скажут не только Т. Адорно, К. Хоркхаймер и Ю. Хабермас, но и А. Солженицын. «Мы — все мы, все цивилизованное человечество, — посаженные на одну и ту же жестко связанную карусель, — пишет он, — совершили долгий орбитальный путь: Возрождение — Реформация — Просвещение — физические кровопролитные революции — демократические общества — социалистические попытки»<sup>1</sup>. Писатель говорит об исчерпании целого длительного цикла в мировой истории, возникновении критической оценки того, чему в последние столетия поклонялись. Война ускорила этот процесс. «Как нам видится, — продолжает писатель, — цивилизационное человечество подошло сейчас к повороту мировой истории (жизни, быта и миропонимания), по значению такому же, как от Средних веков к Новому времени, — если только по бесконечности и по упадку духа мы не пропустим этого поворота»<sup>2</sup>.

По сути, суждение А. Солженицына перекликается с известной работой Т. Адорно и К. Хоркхаймера «Диалектика Просвещения», в которой утверждается, что идеи Просвещения стали отправной точкой не только прогресса, но и регресса. Они стали причиной возникновения нового варварства, поскольку отречение от прошлого, традиций и культуры привело к бюрократизации, регламентации всех проявлений жизни и в конечном счете — к тоталитарным государствам. К этому можно только добавить, что произошедшая в России XX века революция 1917 года как выражение духа модерна может служить иллюстрацией этой точки зрения.

Немецкий философ Ю. Хабермас эпоху Просвещения назвал эпохой модерна. Это обобщенный образ того, что можно было бы назвать проектом пересоздания фундаментальных основ жизни. Следствием модерна оказались революции Нового и Новейшего времени. Возникая, модерн надолго отсрочил откры-

тие в науке смысла культуры, что не удивительно: ведь просветители (они же носители идеи модерна) исходили из того, что Кант называл «чистым разумом», а значит, из логики. Таким образом, уже в XVIII веке возникла некая система, выходящая за пределы культуры, становление которой развертывалось на протяжении столетий. Прогресс как ключевое слово модерна исходил не из традиции. Просветители были убеждены в том, что никаких образцов в прошлом больше существовать не будет. Они исходили не из культуры, а из наднациональных, надисторических, надэтнических и надконфессиональных стихий, из которых и образовалось то, что будут называть идеологией. Перечеркивая прошлое, носители модерна переоценивали значимость будущего, о чем свидетельствовали их утопические проекты радикального переустройства общества.

Конечно, нельзя утверждать, что сознание мыслящих людей было загипнотизировано модерном, хотя не заметить этого невозможно. Тем не менее уже в XVIII веке появлялись мыслители, для которых идея культуры не была пустым звуком. Это направление в науке представляли романтики и близкие им по своим воззрениям философы типа Гердера. Однако, начав проникать в массы, идеи модерна превращались в универсальные. На этом фоне альтернативное направление, связанное с романтизмом, оказывалось маргинальным. Оно то вспыхивало, как это происходило в начале XIX века или позднее, на рубеже XIX–XX веков, то угасало. По-настоящему оно начало проявлять себя с момента угасания модерна, с осознания того, что модерн не только не конструктивен, но и разрушителен. Но это осознание приходит с большим запозданием.

Может показаться, что в данном случае мы приветствуем появление постмодерна как направления, подводящего черту под модерном. Но мы полагаем, что постмодерн не исключает начатого модерном разрушительного процесса по отношению к культуре. Единственным бастионом, по-настоящему противостоящим модерну, который на наших глазах приобретает черты универсальности, является культурологическая рефлексия, позволяющая заново прочитать историю под углом зрения возникновения и распространения того, что называют идеей культуры<sup>3</sup>.

Распространяясь и превращаясь в руководство по организации практических действий и, в частности, сокрушительных революций, в том числе так называемых «оранжевых» революций, идеи модерна провоцируют возникновение и таких явлений в истории, которые позволяют обнажить их разрушительную суть, прояснить сохраняющуюся на протяжении веков ситуацию и в общем способствуют их кризису и исчезновению. К такого рода явлениям относятся революции и войны. Причины их появления тоже во многом связаны с идеями модерна, являются их порождением, что, собственно, и произошло с русской революцией 1917 года.

Несомненно, в Новое время модерн оказывал на русских более сильное влияние, чем романтизм с присущими ему симпатиями по отношению к Средним

<sup>1</sup> Солженицын А. Публицистика : в 3 т. Ярославль, 1995. Т. 1 : Статьи и речи. С. 196.

<sup>2</sup> Там же. С. 198.

<sup>3</sup> Межуев В. Идея культуры. Очерки по философии культуры. М., 2006.

векам. По этому поводу высказался еще С. Булгаков, утверждая, что русская интеллигенция с необычайной легкостью усваивала «догматы просветительства» с его учением о прогрессе и всемогуществе внешних реформ для разрешения всех противоречий жизни. Более того, он пишет, что материалистический социализм явился «самым поздним и зрелым плодом просветительства»<sup>1</sup>.

Конечно, Запад в еще большей степени, нежели Россия, развивался под воздействием идей Просвещения. Об этом свидетельствует и Французская революция, ставшая для последующих революций образцом. Но в воздействии идей Просвещения на Запад и Россию можно констатировать и разительное несходство. Это несходство подчеркивает С. Булгаков. Если на Западе, скажем, атеизм, спровоцированный философией XVIII века, наталкивался на другие традиции, в частности на исторический консерватизм и заложенный Средневековьем и Реформацией религиозный фундамент, то в России идеи просветительства превратились в идеи, определившие революцию 1917 года. Они были восприняты, как утверждает С. Булгаков, «не только с юношеским пылом, но и с отроческим неведением жизни и своих сил, и получили почти горячечные формы»<sup>2</sup>.

Но кто мог подумать, что, распространяясь, идеи модерна могут привести к таким катастрофам? Когда войны происходят и провоцируют всплеск разрушения, ставя человечество на грань жизни и смерти, срабатывает глубоко запряженный в подсознание инстинкт выживания, смыывающий весь позитив в модерне, которому на протяжении многих столетий пелись дифирамбы, незыблемость и непререкаемость которого утверждалась. В этом высвобождении от некогда казавшихся прогрессивными идей участвуют не только отдельные

выдающиеся индивиды, но и целые народы, что продемонстрировала Вторая мировая война.

Такие явления, как войны, во многом возвращали человечество к тем состояниям, которые в эпоху модерна сопровождались отрицательными коннотациями, к тем формам, которые, казалось, либеральными обществами давно преодолены. Уже одно это свидетельствует о том, что история в XX веке, что бы по этому поводу ни говорил Ф. Фукуяма, еще не закончилась, а значит, не закончились и катастрофы. Чем ближе к исходу XX века, тем все более очевидным становилось, что в модерне многое было от утопии. Реализация утопии подчас приводила к реальности антиутопии. Именно антиутопии, возвращая к реальности, делают как выдающихся личностей, так и целые народы способными мыслить более трезво. Но, как свидетельствует сегодняшний день, это все еще остается проблемой.

В литературе пока недостаточно сказано о том, что эпоха реализации «проекта модерна» оказалась разрушительной как для политических систем, так и для культуры, смысл которой просветителями не был открыт. Но если человечество все же, несмотря на кровопролитные войны и взрыв в этих войнах варварства (что свидетельствовало о выходе за пределы «осевого времени»), выжило, то это произошло благодаря культуре, которая все еще, несмотря на разрушительные процессы, в народной массе сохранялась, а не мудрости великих полководцев и генералов, будь то Сталин или кто-то другой. Мы пытались показать, как эта латентная сила — культура — в годы войны выходила из подсознания в сознание и проявилась в момент величайших испытаний, когда в результате легкомысленных действий представителей правящей элиты миллионы людей оказались на грани жизни и смерти.

<sup>1</sup> Булгаков С. Сочинения : в 2 т. М., 1993. Т. 2 : Избранные статьи. С. 312.

<sup>2</sup> Там же. С. 314.